

Дмитрий ГОЛУБКОВ:

Земля заселяется

КАКИМИ-ТО ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ...

Вернулся человек. Выглянул за окно мансарды, где неостывно работал, увидел нас и вот зачем-то отдал все. Толстую папку, полную пожелтевших страниц, дневник, папку писем, стихи... Решил, что — пора. И вот: роман «Восторги» опубликовал «Дружба народов» (№ 3, 1993 г.), дневник, письма к писателю — журнал «Согласие» (№ 5, 1993 г.). Публикации сцепились во времени, составили событие, никем пока не отмеченное.

Сорокадвухлетний литератор Дмитрий Николаевич Голубков застрелился в ночь с 4 на 5 ноября 1972 года. — не в пьяном помрачении, а в том порыве, о котором Саша Башлачев писал: «...Приходит бешеная ясность, насилуя притихшие слова».

Уходы начала семидесятых долго и стыдно забывались, а на рубеже восьмидесятых забылись обыкновенно. Волна новых утрат странно утешила, замела следы к тем могилам.

Но вот прошло двадцать с лишним лет, а уходы семидесят первого — семьдесят второго по-прежнему томят. Недосказанность тех, кто ушел тогда — Сергей Дрофенко, Дмитрий Голубков, Геннадий Шпаликов, Николай Рубцов... — открывается вдруг с такой неизъяснимой полнотой, что судьбы состарившихся их ровесников, раздерганных по партийным спискам, кажутся обрывком чего-то необязательного, досадного.

Всю ту, первую, тяжесть от ухода Голубкова, все первые слезы Юлий Казаков, абрамцевский друг Дмитрия Николаевича, уложил в рассказ «Во сне ты горько плакал». Это было в 1973 году. «Неужели на каждом из нас, — спрашивал в этом рассказе Казаков, — стоит неведомая нам печать, предопределяющая весь ход нашей жизни? Душа моя бродит в потемках...»

Должно было пройти двадцать лет, чтобы другой писатель, Евгений Шкловский, — в начале семидесятых еще почти мальчишка, студент, — вспомнил о Дмитрии Голубкове и написал о его уходе рассказ «Недуг» (журнал «Согласие» № 5, 93 г.).

Итак, в который раз, как это и бывает в жизни, все остается без финала и плетется в дальнейший сюжет. Напечатанный «Дружбой народов» роман Голубкова попал к провинциальному подписчику весной, безумно поздней нычке, и роман начинается со слов: «Господи — весна!»

А дальше: «Нет, милый мальчик. Восторг не гаснет напрасно...»

И потом уже где-то в глубине романа: «Эти старинные, отяжеленные тоскою полнотности слова... Каким живым эхом звучат они в твоей душе, преданной прош-

Своими стихами, песнями, поступками и даже своими трагическими уходами они провожали нас, еще детей, во взрослую жизнь. Прошло двадцать лет, и мы стали почти ровесниками. И вот они снова нас провожают — в другой возраст, другую жизнь. Ты прислушайся и услышишь...



ТЕ, КОГО МЫ ЗАБЫЛИ

лому и страшнейшей будущему! И — мешают Мешают сердцу прижаться к предложенной тебе действительности... И восторг, подымая над землей, не дает разглядеть ее и полюбить...»

Восторг — тайное, ключевое слово поколения Дмитрия Голубкова. Это пастернаковское «неистовство чистоты» («Доктор Живаго»). Герой «Восторгов» — юный художник Олег, как и Голубков в действительной жизни, становится одним из первых читателей романа Пастернака. Однажды познакомившись в Переделкине с Пастернаком, Олег всю жизнь потом носит в душе «овражный голос» поэта и хранит завещанный им, высокий, спасительный восторг. Но то, что спасало в конце пятидесятых, начинало исподволь губить на пороге семидесятых. Безнадёжность, напрасность набранной высоты заставляла даже лучших в этом поколении снижаться, дабы не разбиться. Герой голубковского романа не мог согласиться на меньшую высоту. Он застрелился из отцовского пистолета. Через два года после окончания романа, расчехлит ружье и Дмитрий Голубков.

«Мы знаем, что обречено И безнадежно наше дело, Зачем же сердцем завладело И не дает вздохнуть оно?..»

Это Сергей Дрофенко, поэт, погибший за год до Голубкова.

Лев Гумилев был убежден, что эпохи начинаются задолго до своего официального календарного триумфа. Эпохи, с ужасающей легкостью сокращающие страны, границы, верования, — сперва они с великим трудом тшчатся сломать лишь нескольких, причудливо избранных для этой цели, людей. «Бедных родственников угасших фамилий...» — как в романе у Голубкова.

Восторг шестидесятых уже давно нуждаются в расшифровке. Критики «новой волны» лениво терзают «предков», погибшее время блестяще мумифицируется в рекламных клипах. Там, где жили и умирали шестидесятники, открылось доходное место.

Над теми восторгами можно смеяться, как можно смеяться над улетевшим воздушным шариком, но ведь — не догонить?.. Мы-то еще будем меняться, мучиться, изживая нажитую последними годами свинцовую пустоту, мы еще, быть может, попробуем заступить в мир горний и вечный что-то свое, но тот-то, шпаликовский да голубковский, шарик — он уже будет далеко и не с нами.

«...Старик, они успели надыхаться. Они горным воздухом надыхались. Даже — гор-орним!.. А мы родились в эпоху... кислородного голодания!.. У нас, старичок, легкие не те... И лей-ке-мия души...» («Восторги»).

За романом Голубкова мнится утраченный нашей литературой путь. А если и не путь, то несостоявшийся в полноте своей мотив. Мотив совестливости, неугрюмой и ясной, мотив немого укора — укора нежностью, а не именем Божьим, поминаемым теперь всуе.

«...Шли чай опять молчаливо, не мешая певучей игре самовара и пристальной думе свечного огня...»

«Господи, пошла радость! Пошла душу родную, милые руки, губы, шепот женский... Кому мне рассказать себя, Господи, кого мне любить!.. Он молился своими смутными рассветными мыслями...»

Нынешнее прибытие в усталую литературу девятилетних Голубкова (а где-то рядом и Дрофенко, Шпаликова и других «отставших в пути») означает возвращение акасовской мерзости, гончаровской

серьезной обстоятельности, возвращение непоправимо, казалось бы, поврежденной художественной ткани.

Наверное, мы еще слишком близки тому времени, чтобы понять, что драма шестидесятых случилась не в политике и прославленное диссидентство не решало этой драмы. Оно лишь указывало еще один путь затмения «проклятых» вопросов, путь отчаянного, но все же побега.

Из дневника Д. Голубкова, 22 мая 1967 года: «Что более всего полюбил и оценил, прожив 37 лет? Чистоту. Во всем — чистую траву, чистый снег, воздух, душу; ребенка».

Его чистота была незаурядна и на фоне шестидесятых, но там она казалась одним из качеств времени. Чистота же эта была внеидеологична, как и все от души, не от ума исходящее. И преклонение перед легким дыханием совести, послушность этому дыханию, согревавшие все, что писал, думал Голубков, — не от «оттепели» пресловутой лишь только... Это ведь все равно, что Бунина объяснять царским манифестом от 17 октября.

Голубкова, Шпаликова, Рубцова, Дрофенко (при всей их литературной неравноценности и житейской нестыкуемости) гораздо точнее, если уж на то пошло, объяснит дождь в конце августа. И молчаливая, чуть сутулая спина человека, уходящего от вас под дождь холодный, уже почти осенний.

Вы найдете, вы обязательно найдете, что сказать, что подумать, что крикнуть, пока дверь открыта в дождь и виден человек, переходящий площадь...

У Голубкова, говорят, блестяще получалась редактура, критика. Мог бы и не подставляться под крест русской литературы. Было ведь кому тащить — в те-то годы! А Голубков не только думая своими романами («Восторги» и «Недуг бытия») «подставился», не только традицией трудного классического слога — он самого себя подставил. Он жил классически — как жили литераторы эпохи безвременья. Классически честно. Классически мучительно. Напоминающая даже бытом своим о совестном качестве русской литературы.

«Как жить, что делать? Ведь все пропадает. Земля заселяется какими-то другими людьми...» Так говорит главному герою «Восторгов», Олегу, его одноклассник. Чистые люди шестидесятых проверили этот не ведомый еще никому слом на себе — выживет ли словесность, выдержит ли душа? Литература выдержала, душа — нет.

Земля заселилась другими. Дмитрий ШЕВАРОВ. 87